

УДК 821.161.1

ЕЩЁ РАЗ О ЗАГАДКАХ ПУШКИНСКОГО «ПАМЯТНИКА»**Н. А. Карпов**

кандидат филологических наук,
доцент кафедры истории русской литературы,
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ),
Санкт-Петербург, shakespirr@mail.ru

Аннотация. В статье анализируется ряд исследовательских концепций, освещающих стихотворение А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»; предлагаются разнообразные подходы к изучению этого произведения – интертекстуальный, поэтологический, психологический. Одновременно подвергается аналитическому осмыслению ряд устойчивых читательских и исследовательских стереотипов, связанных с этим произведением. Делается вывод о том, что, обладая композиционной ясностью и стройностью, на смысловом уровне пушкинский текст строится как намеренно противоречивый, что отражает такие характерные черты поэтики Пушкина в целом, как стремление автора к семантической многоплановости, ориентированность художественного слова не на буквальные, понятийные, а сложно организованные образно-символические аспекты значений.

Ключевые слова: Пушкин, стихотворение-памятник, абберация, интертекст, психология творчества, золотой век.

ONCE AGAIN ON THE MYSTERIES OF PUSHKIN'S "MONUMENT"**Nikolai A. Karpov**

PhD, Associate Professor,
Saint Petersburg State University (SPbGU),
Saint Petersburg, shakespirr@mail.ru

The article analyzes a number of research concepts that illuminate the poem by A.S. Pushkin "I erected a monument to myself not made by hands..." ("Ya pamyatnik sebe vozdvig nerukotvornyy..."); a variety of approaches to the study of this work is offered: intertextual, poetological, psychological ones. At the same time, a number of persistent reader and research stereotypes associated with this work is analyzed. The author comes to the conclusion that, having compositional clarity and harmony, at the semantic level, Pushkin's text is constructed as intentionally contradictory, which reflects such characteristic features of Pushkin's poetics as the author's desire for semantic diversity, the orientation of the artistic word not to literal, conceptual, but complexly organized figurative and symbolic aspects of meanings.

Key words: Pushkin, "monument poem", aberration, intertext, psychology of creativity, golden age.

Очевидно, что в трактовке пушкинского стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (1836) читатель и исследователь находятся под воздействием целого ряда когнитивных aberrаций. Например, по сей день, следуя сложившейся традиции¹, принято говорить о «Памятнике» Пушкина как о некоем «итоге» творчества автора или как о его своеобразном «завещании»². Но это мы, пушкинские потомки, воспринимаем данное стихотворение в качестве итогового – поскольку оно волею судьбы действительно стало для поэта одним из последних. И только в такой диахронической перспективе и возможно смотреть на «Памятник» как на своего рода «итог». Если же взять за точку отсчета план синхронический, имманентный самому художнику, то, на наш взгляд, ни о каком сознательном подведении итогов всего творчества и тем более жизни речь для Пушкина летом 1836 г. (даже в тяжелой атмосфере всех происходящих событий³) не шла. Поэт, безусловно, планировал и жить, и творить дальше (к слову, Г. Р. Державин прожил после создания своего «поэтического памятника» 21 год, М. В. Ломоносов – 18 лет, В. В. Капнист – 17 лет, а А. Х. Востоков, выполнивший перевод оды Горация *Ad Melpomenem* в молодости, – более 60 лет). Присущие поэтике пушкинского текста монументальность и подчеркнутая «итоговость» мотивов обусловлены, по нашему мнению, в большей степени требованиями выбранной жанровой модели, а не осознанным желанием лирического субъекта сказать о себе последнее и завершающее слово (в этом отношении действительно итоговым произведением можно считать, к примеру, «Памятник» В. Ф. Ходасевича («Во мне конец, во мне начало...» (1928)), созданный автором в момент сознательного ухода из поэзии).

Также стоило бы поставить под сомнение и устоявшуюся в критике и литературоведении трактовку мотива бессмертия поэта в сознании потомков («Слух обо мне пройдет по всей Руси великой...»⁴) как прямого пушкинского предвидения собственной посмертной всероссийской славы. Одним из первых ее наметил М. О. Гершензон: «Пушкин с законной гордостью говорит здесь о завоеванном им бессмертии, и тут же перечисляет те заключенные в его поэзии непреходящие ценности, которые дают ему право на это бессмертие. Так он сам понимал свою деятельность и так определял ее значение; и эта завершительная самооценка бросает свет на весь пройденный им путь»⁵.

Мы прочитываем эти строки буквально, как слово поэта о своей будущей судьбе в силу того, что Пушкину действительно было суждено утвердиться в роли подлинного гения, отечественного «культурного

героя»⁶, стать личностью, известной каждому жителю России с детских лет. То есть налицо очередная ретроспективная абберрация сознания, попытка мерить прошлое категориями настоящего (к сожалению, частая ошибка историка). Сложись литературная репутация Пушкина не столь благополучно, тогда, не исключено, на пророчества «Памятника» мы бы смотрели сегодня так, как смотрим на варианты данного мотива, реализовавшиеся в переложениях гораціанского оригинала другими поэтами, – например, Державиным: «Всяк будет помнить то в народах неисчетных, // Как из безвестности я тем известен стал <...>»⁷. Имя Державина, безусловно, прекрасно знакомо образованному читателю, но утверждать, что он известен «всякому» представителю «неисчетных народов» нашего отечества было бы все же откровенным преувеличением. Что же касается Пушкина, то навряд ли в 1836 г. поэт мог быть непоколебимо уверен в том, что войдет в русскую культуру как «звезда первой величины» – для этого не было ни биографических (современники чуть ли не в один голос свидетельствовали об упадке пушкинского таланта), ни культурно-исторических предпосылок (общий уровень грамотности в стране был крайне невысок, а тиражи публикуемых литературных произведений по нынешним меркам ничтожны).

Как пророчество поэта о своей славе «по всей Руси великой», так и перечисление им разнообразных заслуг перед народом – это в первую очередь маркер определенной жанровой традиции, а также важная составляющая воспроизводимого Пушкиным мифа о бессмертии творца. Воспринимая сказанное буквально, мы будем вынуждены либо прочитывать текст в пародийном ключе, как сделали, к примеру, В. В. Вересаев⁸ и В. В. Набоков⁹, либо констатировать у автора манию величия (подобные диагнозы порой ставились представителям отечественной словесности, и, вероятно, в отдельных случаях не без оснований¹⁰) – однако такой вывод будет смотреться неубедительно. И вовсе не потому, что гений пушкинского масштаба не может иметь никаких человеческих недостатков. Дело прежде всего в том, что само лирическое «я» у Пушкина, как правило, имеет весьма опосредованное отношение к биографической или психологически индивидуализированной личности поэта, не соразмерно ей. А, допустим, в «Пророке» (1826) «я» оказывается нетождественно какой-либо личности вообще, выступая персонификацией поэзии как таковой, воплощая собой некий «дух творчества». Что-то сходное, на наш взгляд, происходит и в «Памятнике»¹¹. Можно предположить, что речь здесь идет о бессмертии не человека Александра Пушкина (тем более концепт бессмертия осмысливается – снова в рамках

жанрового канона – в большей степени в эстетической, нежели в религиозно-метафизической перспективе), и, возможно, даже не о бессмертии Пушкина-поэта (ибо отдельный поэт – лишь медиум, проводник божественных истин), а истинной поэзии *par excellence*, которая не умрет, пока «жив будет хоть один пиит» – своеобразный анонимный двойник автора в будущем. Из логики текста вытекает, что «славить» того, от чьего лица ведется речь в «Памятнике», будет уже сам факт существования такого «пиита» – а значит, дело не в конкретном творце, а в вечной жизни лирического творчества в целом. «И назовет меня всяк сущий в ней язык» – это надежда на то, что вся читающая Россия будет знать поэзию в ее лучших образцах.

Подобное прочтение «Памятника», максимально дистанцирующееся от реальной пушкинской личности, декларирующее отказ от индивидуализации облика лирического субъекта, как представляется, вполне правомерно. Однако оно ни в коем случае не претендует на то, чтобы быть исчерпывающим. Утверждать, что пушкинский текст не демонстрирует никаких пересечений с непосредственным индивидуальным опытом автора тоже, наверное, было бы ошибочно. Еще Л. Я. Гинзбург проницательно подметила, что в этом произведении тесно сплетены надындивидуальное, «общее» и субъективное, «личное» начала (оставим за скобками исследовательскую трактовку этих «личных» мотивов): «В стихотворении “Памятник” образ высокого, народного поэта, казалось бы, обобщен уже до предела. Но для читателя, подготовленного всей атмосферой пушкинской лирики, грандиозные символы “Памятника” естественно сливаются с биографическими реалиями <...>. Два образа – самый обобщенный и очень личный – как бы накладываются друг на друга»¹². При этом в анализе «Памятника» исследователи зачастую делают упор лишь на одно из этих начал, игнорируя другое.

В рамках подходов, нивелирующих значимость субъективных авторских мотивировок, конструируется, в частности, сегодняшний интертекстуальный анализ. Он исходит из того, что основная интенция произведения выстраивается исключительно через диалог с литературной традицией, отсылки к разнообразным культурным контекстам. В таком ключе «Памятник» рассматривают, к примеру, О. Проскурин¹³, Р. Войтехович¹⁴, Е. Курганов¹⁵ и др. Однако данный метод в отношении Пушкина тоже не кажется безупречным. В целом представляется, что увлечение исследователей поисками многочисленных интертекстуальных параллелей грозит еще одной когнитивной и методологической ошибкой, которую можно обозначить как «филологизацию художественного

объекта»: это взгляд на произведение искусства через призму собственных литературоведческих компетенций. Выдающиеся писатели были, вне всякого сомнения, людьми высокообразованными; тем не менее маловероятно, что в конкретный момент создания своих творений они могли учитывать все источники, находящиеся в кругозоре современного филолога. И главное (даже если предположить, что автор в определенных случаях действительно мог сознательно подразумевать все найденные литературоведом параллели), эстетическая направленность и смысл художественного целого никак не могут сводиться лишь к его интертекстуальной природе (если только перед нами не образец постмодернистской литературной игры¹⁶). Приобщение к *блаженному наследству* культуры – это результат творческого процесса, но никак не его главная мотивировка.

Так или иначе, даже максимально, казалось бы, деиндивидуализированный с точки зрения своей субъектной структуры текст неизбежно несет в себе определенные следы авторского присутствия, поэтому не принимать к сведению при его анализе разнообразные биографические и психологические факторы невозможно. Еще М. П. Алексеев, посвятивший в свое время «Памятнику» обстоятельную монографию, замечал, что комментаторы «уделяют слишком мало внимания личным поводам, способствовавшим созданию этого стихотворения Пушкина»¹⁷. Среди таких психологических поводов ученый вполне обоснованно называет «тяжелое душевное состояние Пушкина в то время, когда создавался “Памятник”»¹⁸. Именно оно, по мнению М. П. Алексеева, породило у поэта ощущение близости смерти, выразившееся в его обращении к «завещательной» горацанской традиции. Одновременно мрачное настроение Пушкина было вызвано толками о его угасающем даровании; в итоге для автора «оба этих понятия – поэтической смерти и физического уничтожения» не столь уж «далеко отстояли друг от друга»¹⁹. Отсюда лишь один шаг до истолкования и мотива будущей посмертной славы творца в подобном же психологическом ключе, но его советский исследователь, думается, по вполне понятным причинам не делает. Развиваемый же нами психоментальный подход к литературе демонстрирует, что внутреннее, эмоциональное содержание писательского высказывания может оказаться прямо антитетичным по отношению к его буквальным значениям, особенно если эти значения приобретают нарочито выпуклый характер, усиленно педалируются субъектом письма. Становится возможным следующее допущение: если автор с уверенностью заявляет о своей будущей известности, это значит, что

«бессознательное текста» может таиться в опасении такой известности не достигнуть. Не исключено, что в этом и состояла основная психологическая подоплека и одновременно задача пушкинского произведения. Выбранная жанровая модель «стихотворения-памятника» позволяла поэту, с одной стороны, как бы камуфлировать торжественными славословиями тягостные переживания²⁰, скрывая за возвышенной одической риторикой собственное разочарование, возможно, даже отчаяние; а с другой – преодолевать эти тяжелые эмоции, превращая художественную речь в своего рода заклинание²¹. Впрочем, это тоже не более чем одна из догадок и многочисленных интерпретаций.

Парадокс, но стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», обладая поистине классической стройностью в композиционном и стилистическом отношении, на смысловом уровне рискует при первом приближении распасться как смысловое единство. Очевидные логические противоречия текста не укрылись от глаз уже первых критиков. Так, П. А. Вяземский счел неудачным эпитет «нерукотворный», характеризующий памятник творчества: «А чем же писал он стихи свои, как не рукою? Статуя ваятеля, картина живописца так же рукотворны, как и написанная песнь поэта»²². Д. И. Писарева удивило другое: автор, призывающий музу «не требовать венца» и «равнодушно» принимать любую «хвалу», одновременно грезит о «славе, в которой он превзошел Наполеона и перед которою преклонятся со временем тунгусы и калмыки»²³.

Отсутствие убедительных объяснений подобных логических нестыковок порой приводит к неожиданным, даже откровенно шокирующим выводам: «<...> умудренный творец “Памятника” не пытался выразить подлинного себя, но всего лишь транслировал обиходное представление о том, каким полагается быть поэту <...>. Итоговый автопортрет целиком совпадает с типовыми воззрениями “ничтожной толпы”, не имея абсолютно ничего общего с реальным Пушкиным <...>. Поэт зарифмовал разрозненный набор попугайских стереотипов, ухваченных машинально и оттого взламывающих логическую цельность сказанного <...>»²⁴, – объявляет Н. Гуданец. Однако объяснять уникальную природу «Памятника» тем, что это просто неудачное произведение, художественный провал, – значит расписаться в литературоведческом непрофессионализме.

Действительно, ни одна из предложенных в пушкиноведении концепций прочтения стихотворения (включая и представленные нами субъективные соображения) не может дать исчерпывающий и внутренне непротиворечивый ответ на все провоцируемые текстом вопросы

(эти вопросы со временем как будто лишь умножаются, один только образ «Александрийского столпа» породил целое направление в научной литературе о «Памятнике», насчитывающее уже не один десяток различных версий). Однако кажется совершенно неоспоримым, что требовать от пушкинской поэзии строгой логичности и смысловой упорядоченности попросту неправомечно. Пушкин берет за основу жанрово-смысловую модель, возникшую в рамках античного рационалистического мировоззрения и естественно востребованную затем литературой классицизма (чего стоит хотя бы горацанское членение человека на «части», сохранившееся в большинстве переводов и переложений оригинала: «<...> смерть оставит // Велику часть мою!»²⁵ (Ломоносов); «<...> часть меня большая, // От тлена убежав, по смерти станет жить»²⁶ (Державин) и т. п.), но сам он, безусловно, далек от ясной классицистической эстетики и рационального мышления.

С другой стороны, навряд ли стоит, находясь в плену влияния концепций прошлых эпох, рассматривать «Памятник» и как «глубоко реалистическую трансформацию горацанского стиля»²⁷, видеть в нем манифестацию поэтики реализма – метода, жизнеподобно, миметически воспроизводящего в тексте окружающий мир. Присутствие «живой жизни», конечно, всегда ощущается в поэзии Пушкина, но, как убедительно показывает М. Н. Виротайнен, понимать литературу первых десятилетий XIX в. (по крайней мере, до времени Лермонтова) как прямое отражение внетекстовой действительности не представляется возможным²⁸. Язык лирики золотого века, соотносясь с «текстом жизни» по принципу диглоссии, обладает некой самоценностью и ориентирован в большей степени на собственно эстетические, чем на буквальные значения используемых понятий, в его рамках «поэтическое слово формирует свою сферу значений и смыслов, и эта сфера имеет автономное бытие»²⁹. Пушкинская поэтика сложна, синтетична, и сводить ее даже на позднем этапе к непосредственному перенесению в пространство текста жизненных реалий никак нельзя. Ю. Н. Тынянов отмечал: «Семантика Пушкина – двупланна, “свободна” от одного предметного значения и поэтому противоречивое осмысление его произведений происходит так интенсивно»³⁰. К сходным выводам позднее приходил и Ю. М. Лотман: «Пушкинская смысловая парадигма образуется не однозначными понятиями, а образами-символами, имеющими синкретическое словесно-зрительное бытие, противоречивая природа которого подразумевает возможность не просто разных, а дополнительных (в понимании Н. Бора,

т. е. одинаково адекватно интерпретирующих и одновременно взаимоисключающих) прочтений»³¹.

Дальнейшее изучение «Памятника», думается, невозможно без опоры на эти наблюдения.

Примечания

¹ См.: *Гофман М. Л.* Посмертные стихотворения Пушкина // Пушкин и его современники. Вып. XXXIII–XXXV. Петроград: Рос. гос. академ. тип., 1922. С. 413; *Виноградов В. В.* Стиль Пушкина. М.: ГИХЛ, 1941. С. 512; *Мейлах Б. С.* Пушкин и его эпоха. М.: ГИХЛ, 1958. С. 516; *Алексеев М. П.* Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг...»: Проблемы его изучения. Л.: Наука, 1967. С. 120.

² См.: *Венгеров С. А.* Последний завет Пушкина // Пушкин. Собр. соч.: В 6 т. СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1910. Т. 4. С. 45; *Степанов Н. Л.* Лирика Пушкина. Очерки и этюды. М.: Советский писатель, 1959. С. 39; *Виноградов В. В.* Указ. соч. С. 512; *Лотман Ю. М.* Пушкин. Биография писателя. Статьи и заметки. 1960–1990. «Евгений Онегин». Комментарий. СПб.: Искусство-СПб, 1995. С. 170.

³ Ср., напр.: «Мысль о скорой смерти стала навязчивой, постоянно возвращавшейся в сознание Пушкина; она еще более усугублялась оттого, что и в салонных разговорах, и в печати постоянно шли толки о его смерти как поэта» (*Алексеев М. П.* Указ. соч. С. 104), – пишет о времени, в которое создавался «Памятник», М. П. Алексеев. Однако подобная аргументация не кажется нам достаточной для того, чтобы без колебаний приписывать пушкинскому тексту «прощально-завещательный» пафос.

⁴ *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 17 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. Т. 3. С. 424. Далее «Памятник» цитируется по этому изданию.

⁵ *Гершензон М.* Мудрость Пушкина. М.: Т-во «Книгоиздательство писателей в Москве», 1919. С. 50. См. также еще несколько «буквальных» толкований этих строк «Памятника»: «Пушкин говорит о “всей Руси великой”, мечтая о том времени, когда каждый из народов, живущих на относящейся к ней государственной территории (“всяк сущий в ней язык”), назовет его имя» (*Алексеев М. П.* Указ. соч. С. 82); «<...> если Державин старался быть особенно приятным “царям”, то Пушкин, наоборот, справедливо предвидел, что именно народ будет его любить, благодаря добрым чувствам, пробужденным его поэзией, и за то, что он как настоящий пророк (курсив мой – Н. К.) в опасное время сумел прославить свободу» (*Ревелли Д.* Гораций и русская литература XVIII – нач. XIX в. // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб.: Дмитрий Буланин, 1996. Т. 50. С. 707).

⁶ См.: *Виролайнен М. Н.* Культурный герой нового времени // Легенды и мифы о Пушкине: Сборник статей / Под ред. М. Н. Виролайнен. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1995. С. 329–349.

⁷ *Державин Г. Р.* Стихотворения (Библиотека поэта. Большая серия). Л.: Советский писатель, 1957. С. 233.

⁸ Ср.: «Ясно выраженная, неприкрытая пародия на “Памятник” Державина. Неприкрытая, даже подчеркнутая намеренным повторением выражений Державина» (*Вересаев В. В.* Загадочный Пушкин. М.: Республика, 1996. С. 257).

⁹ Ср.: «В 1836 г. в одном из изящнейших произведений русской литературы Пушкин пародирует Державина – строфу за строфой – точно в такой же стихотворной манере» (*Набоков В. В.* Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб.: Искусство-СПб, 1998. С. 276).

¹⁰ См., напр.: *Жолковский А. К.* «Влюбленно-бледные нарциссы» о времени и о себе // *Жолковский А. К.* Блуждающие сны и другие работы. М.: Наука. Издательская фирма «Восточная литература», 1994. С. 225–244.

¹¹ Согласимся с В. С. Непомнящим, отмечавшим: «<...> пушкинское стихотворение <...> вовсе не только о поэте А. С. Пушкине, его “заслугах”, его судьбе, а о *миссии поэзии* (курсив автора – *Н. К.*), как она понимается поэтом Пушкиным и как выполнена в его творчестве. Из лично-национального плана тема переводилась в план национально-общечеловеческий. “Я” было лишь точкой опоры, но не основным содержанием» (*Непомнящий В. С.* Собрание трудов: в 5 т. М.: Издательский центр МГИК, 2019. Т. 2. С. 282).

¹² *Гинзбург Л. Я.* О лирике. М.: Интрада, 1997. С. 194–195.

¹³ Ср.: «Для объяснения центральных проблем, связанных с “Памятником”, необходимо поставить его в историко-культурный и литературный контекст» (*Проскурина О. А.* Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М.: Новое литературное обозрение, 1999. С. 276). Эту, безусловно, верную идею не стоит абсолютизировать, представляя дело так, что только рассмотрение произведения в подобных контекстах способно дать единственный ключ к его пониманию.

¹⁴ См.: *Войтехович Р.* О горацянском претексте «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» // Пушкинские чтения в Тарту 2: Материалы международной научной конференции 18–20 сентября 1998 г. Тарту: Tartu University Press, 2000. С. 228–234.

¹⁵ См.: *Курганов Е. Я.* О последней строке пушкинского «Памятника»: А. С. Пушкин и царь Соломон // *Сюжетология и сюжетография.* 2016. № 2. С. 75–86.

¹⁶ Ср. позднейшее признание О. Проскурина: «Меня некоторые критики упрекали в том, что я превратил Пушкина в постмодерниста. Наверное, определенный резон в этих упреках есть» («Меня упрекали в том, что я превратил Пушкина в постмодерниста». Научная биография филолога Олега Проскурина [Электронный ресурс]. URL: <https://gorky.media/context/menya-uprekali-v-tom-cto-ya-prevratil-pushkina-v-postmodernista> (дата обращения: 01.04.2022).

¹⁷ *Алексеев М. П.* Указ. соч. С. 103.

¹⁸ Там же. С. 112.

¹⁹ Там же. С. 111.

²⁰ Современники поэта, возможно, чувствовали такую связь. Ср. не раз приводившееся пушкинистами свидетельство Александра Карамзина в письме к своему брату Андрею: «Пушкин показал <...> только что написанное им стихотворение (“Памятник” – *Н. К.*), в котором он жалуется на неблагоприятную и ветреную публику и напоминает свои заслуги перед ней» (Пушкин в письмах Карамзиных 1836–1837 годов. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 96).

²¹ Именно как род заклинания прочитывает вступление к поэме В. В. Маяковского «Во весь голос» (1930), продолжающем горацянскую традицию в XX столетии, Ю. Карабчиевский (см.: *Карабчиевский Ю. А.* Воскресение Маяковского. М.: Советский писатель, 1990. С. 192). Впрочем, если в отношении поэзии Маяковского, обладающей повышенной экспрессией и демонстрирующей предельную субъективность лирического тона, подобное психологическое прочтение кажется полностью обоснованным, то рассмотрение пушкинского «Памятника» исключительно под психологическим углом зрения – не более чем одна из возможных и неизбежно неполных интерпретаций. В целом же осязаемая житнетворческая интенция – яркая особенность русской литературы.

²² *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч.: в 12 т. СПб.: Изд. гр. С. Д. Шереметева, 1883. Т. 8. С. 333.

²³ *Писарев Д. И.* Сочинения: в 6 т. СПб., 1894. Т. 5. С. 117. Это же противоречие затем отметил В. В. Вересаев: «Зачем было с гордостью говорить о своей будущей всенародной славе, если поэт хочет относиться к ней равнодушно?» (*Вересаев В. В.* Указ. соч. С. 254).

²⁴ *Гуданец Н.* Ты сам свой высший суд, или Трагикомедия пушкинской двойственности [Электронный ресурс]. URL: <https://www.kreschatik.kiev.ua/51/29.htm> (дата обращения: 01.04.2022).

²⁵ *Ломоносов М. В.* Избранные произведения (Библиотека поэта. Большая серия). М.; Л.: Советский писатель, 1965. С. 271.

²⁶ *Державин Г. Р.* Указ. соч. С. 233.

²⁷ *Виноградов В. В.* Указ. соч. С. 512.

²⁸ См.: *Виротайнен М. В.* Потерянное «Я»: О поэтическом самосознании Золотого и Серебряного века // Семиотика безумия. Сборник статей. М.; Париж: Издательство «Европа», 2005. С. 85–94.

²⁹ Там же. С. 86.

³⁰ *Тынянов Ю. Н.* Литературная эволюция: избранные труды. М.: Аграф, 2002. С. 236.

³¹ *Лотман Ю. М.* Указ. соч. С. 294–295.